

АКАДЕМИК ОЙЗЕРМАН О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ (Интервью 1992 г.)

С.Н. КОРСАКОВ

Аннотация

В своем интервью С.Н. Корсакову (1992) академик Теодор Ильич Ойзерман рассказывает о драматических событиях истории советской философии. Речь идет о философском факультете Московского университета в 1950-е гг. Философская борьба здесь приобрела острый характер. Инициатором ее был профессор З.Я. Белецкий, который считал, что немецкая классическая философия – теоретический источник нацизма и что объективный мир есть объективная истина. Белецкий использовал политический прием защиты своих взглядов – он писал письма Сталину. В результате на философском факультете Московского университета происходила острая борьба взглядов. Т.И. Ойзерман рассказывает о своем преподавателе академике Г.Ф. Александрове. Он объясняет причины, почему Г.Ф. Александров не смог реализовать себя как философ. Т.И. Ойзерман выдвигает свою версию событий, связанных с удалением Э.В. Ильенкова с философского факультета в 1955 г. Очень интересны воспоминания Т.И. Ойзермана о времени обучения Э.В. Ильенкова в аспирантуре. Т.И. Ойзерман рассказывает о характере и творчестве своих коллег по кафедре истории зарубежной философии философского факультета Московского университета. Речь идет о В.Ф. Асмусе, М.А. Дыннике, Б.Э. Быховском.

Ключевые слова: советская философия, Т.И. Ойзерман, философский факультет МГУ, Э.В. Ильенков, В.Ф. Асмус.

Корсаков Сергей Николаевич – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики, руководитель исследовательской группы истории философии советского и постсоветского периода Института философии РАН.

Цитирование: КОРСАКОВ С.Н. (2017) Академик Ойзерман о времени и о себе (Интервью 1992 г.) // Философские науки. 2017. № 5. С. 133–149.
snkorsakov@yandex.ru

С.Н. Корсаков в 1992–1993 гг., будучи студентом философского факультета МГУ, по собственной инициативе и с согласия деканата записывал на магнитофон воспоминания преподавателей–ветеранов факультета. Были взяты интервью у Е.К. Войшвилло, А.М. Ковалева, А.Д. Косичева, Т.И. Ойзермана, Б.Г. Сафронова, В.В. Соколова, А.А. Старченко. Интервью с Е.К. Войшвилло опубликовано в книге «Философский факультет МГУ: страницы истории» (2011). Ниже вниманию читателей предлагается записанное тогда же интервью с Т.И. Ойзерманом, посвященное обстановке на философском факультете в конце 1940-х–первой половине 1950-х гг.

– С. К. Теодор Ильич! Расскажите, пожалуйста, какова была обстановка на философском факультете МГУ, когда Вы вернулись работать после войны.

— *Т. О.* Я остался в аспирантуре, защитил досрочно диссертацию и стал преподавать уже в 1940, а в 1941, как и большинство людей моего возраста, ушел в армию и пробыл в армии и на фронте все эти годы, а в 1947 я вернулся на философский факультет на кафедру истории зарубежной философии, которой заведовал тогда профессор В.И. Светлов. Он был одновременно заместителем министра высшего образования, и ему нужен был человек, который был бы заместителем по кафедре, т.е. фактически вел всю текущую работу, чем я и занимался фактически уже с 1947 г., будучи всего-навсего только доцентом, кандидатом философских наук. А в 1949 г. Светлов вообще отказался от кафедры, и я стал и.о. заведующего кафедрой и был в этом статусе до 1953 г., когда после защиты докторской диссертации в 1951-м, и ее утверждения в 1952-м, мне было в 1953-м присвоено звание профессора, и я затем был уже официально избран заведующим кафедрой истории зарубежной философии. За время работы на этой кафедре мне удалось подобрать ряд молодых работников, таких как В.В. Соколов, М.Ф. Овсянников, Ю.К. Мельвиль, немного погодя пришли на кафедру П.П. Гайденко, Э.В. Ильенков, В.И. Коровиков, А.Н. Чанышев, Г.Я. Стрельцова и ряд других товарищей. Таким образом, наряду со старыми профессорами, которых я застал, когда пришел на кафедру, В.Ф. Асмусом, О.В. Трахтенбергом, М.А. Дынником (последние двое работали по совместительству, так же как и профессор М.П. Баскин), появились молодые сравнительно люди, тогда еще кандидаты наук, которые начали постепенно выступать в качестве лекторов по основным курсам и уже к 1960 г. начали защищать докторские диссертации. В этом ряду я должен упомянуть И.С. Нарского, пожалуй, наиболее способного из этой плеяды молодых. В 1960-м он защитил докторскую диссертацию, потом перешел работать в Академию общественных наук; он опубликовал более 500 различных работ и вообще из воспитанников факультета является одним из наиболее известных за рубежом философских писателей.

Когда я пришел на факультет, то сразу же столкнулся с очень неприятной обстановкой: на факультете главной фигурой был профессор З.Я. Белецкий, заведовавший кафедрой диалектического материализма, являвшийся выпускником Института красной профессуры, никогда не защищавший какой-нибудь диссертации, никогда не писавший книг и фактически не читавший лекций. Но, правда, он лекций не читал потому, что он был больным человеком, он был горбатым. Он вел только семинары, а главное — он давал директивные указания. Причем директивные указания были довольно ужасающие. Дело в том, что во время войны: году в 1943—начале 1944 (я узнал это потом) он написал письмо Сталину, в котором опровергал установившуюся марксистскую точку зрения на немецкую классическую философию, и доказывал, что немецкая классическая философия, которую Маркс, Энгельс, Ленин рассматривали как прогрессивную, как идеологию буржуазной революции, в действительности является идеологией фашизма, что это реакционная философия. Письмо это Сталину попало. И Сталин сказал, что надо это дело рассмотреть. Действительно, была создана комиссия. Этим делом занялись Жданов, Сулов и другие. И как мне рассказывали об этом в

разное время Г.Ф. Александров, М.Т. Иовчук и другие товарищи, которые тогда работали в ЦК, однажды Сталин собрал их и еще некоторых представителей философии и задал им такой вопрос: «Что собою представляет немецкая классическая философия?». Они уже слышаны были об этих самых инвективах Белецкого, они помалкивали, разводили руками, дескать, вопрос не по силам. А Сталин им назидательно сказал, что это была аристократическая реакция на французскую революцию и французский материализм. Ну, естественно, они после этого стали говорить, что это действительно новое открытие, это пересмотр точки зрения, которая опровергнута историческим опытом. Эта фраза Сталина нигде никогда не публиковалась как Сталина, но естественно она публиковалась с какими-то смутными ссылками на указание свыше, и тот же Александров и Иовчук и многие другие писали соответствующие статьи, и, естественно, что Белецкий получил после этого такое признание, которое совершенно не соответствовало ни его способностям, ни его знаниям. И когда я пришел на факультет, а пришел я, как вы понимаете, на кафедру истории зарубежной философии, то я, естественно, находился в чрезвычайно трудном положении, поскольку Гегель у нас занимал, по меньшей мере, один семестр, что-то вроде этого Кант, скажем; а Светлов наставлял меня, предупреждал, что только не вступай, пожалуйста, в конфликт с Белецким, потому что это ужасно, придется тебя тогда уволить и вообще это может кончиться партийным взысканием и т.п. Ну, я, конечно, не лез ни в какие коллизии с Белецким. Но для него этого было мало. Нейтралитет его не устраивал. Он требовал, чтобы все сотрудники, тем более сравнительно молодые, выражали ему преданность, соглашались с его взглядами. И речь шла не только о характеристике немецкой классической философии как аристократической реакции; он считал также, например, что объективная истина это и есть объективная реальность, и даже ссылался при этом на какую-то формулировку Ленина, я бы сказал, не очень ясную, не очень удачную, в «Материализме и эмпириокритицизме», хотя точка зрения Ленина на объективную истину, в общем, конечно, не такова. Ленин рассматривает объективную истину как феномен познания, а вовсе не как явление независимое от познания. Но Белецкий, ухватившись за какую-то неясную формулировку, доказывал, что объективная истина есть объективная реальность, и даже распространял такую версию, что по его поручению, его ассистент Келле, который вел занятия в группе, где училась дочь Сталина Светлана, попросил Светлану, чтоб она поговорила с отцом, и что якобы отец на вопрос: «Что такое объективная истина?» открыл окно и показал: вот она, объективная истина. Следовательно, для того чтобы соглашаться с Белецким, надо было соглашаться с тем, что объективная истина это есть объективная реальность.

Много других совершенно несуразных взглядов высказывал Белецкий и по другим вопросам. Например, уже чувствуя себя, что ли, недостижимым для критики, он вычеркнул из учебной программы статью Ленина «Три источника и три составных части марксизма», считая, что у марксизма не было вообще никаких источников, что он возник, так

сказать, из исторического опыта, а не из каких-то буржуазных учений, потому что из буржуазных учений пролетарское учение возникнуть не может. Следовательно, таким образом, мы опять сталкивались с тем, как рассматривать вопрос о предшественниках марксизма. Для меня это было важно также и потому, что я впервые в это время стал читать на факультете курс истории марксистской философии, следовательно, отношение марксизма к немецкой классической философии и вообще к предшествующей философии постоянно стояло у меня в рамках моего рассмотрения.

Несколько месяцев мне удавалось не участвовать в этих дискуссиях, но, в общем, все-таки меня вынудили к такого рода дискуссиям. Короче говоря, я вступил в полемику с Белецким. Вначале это было по вопросу о том, является ли утопический социализм буржуазным учением. Я ему сказал, что утопический социализм может быть и феодальным, и буржуазным, и мелкобуржуазным. А для него все было буржуазное. Это еще полемика была, скажем, не очень острая, а остроту она приобрела, конечно, когда зашел вопрос об истине, и хотя, в сущности, это не касалось моих лекций, обстоятельства сложились так, что я должен был выступить на каком-то заседании. И разгорелась дискуссия. Меня поддерживали очень многие. Я не говорю уже о членах кафедры, хотя они частью молчали, побаивались. Щипанов активно защищал ленинскую точку зрения. Декан Гагарин тоже стоял на этих позициях. Так что я не могу сказать о том, что я был одинок, в этом случае, вероятно, меня бы просто изгнали с факультета. Нет, достаточно много преподавателей видели несуразность этой позиции Белецкого. Но дело в том, что он писал письма в ЦК все время: вот, мол, Ойзерман в такой-то день в коридоре во время перерыва проповедовал идеалистические взгляды. Меня вызывали в ЦК несколько раз. Надо сказать, что в отделе науки ЦК понимали, насколько он вздорный и, в общем-то, невежественный человек. И это давало нам какие-то силы. Но, тем не менее, в отделе науки мне говорили: ну ладно, мы понимаем, что ты не проповедовал идеалистические взгляды, но он опять пишет; и если он так раз пять напишет, то надо будет заводить персональное дело. Кончилось тем, что меня и еще кого-то, вызвали в райком партии и предложили дискуссию об истине прекратить, причем секретарь райкома сказал такую вескую фразу: вопрос об истине решает только Центральный Комитет партии. Дискуссия на время замерла.

Потом она возобновилась, уже не помню по какому поводу, и разгорелась настолько остро, что было принято решение освободить Белецкого от заведования кафедрой, но, правда, в очень деликатной форме: предоставить ему годичный отпуск для написания диссертации. Но так как он явно не собирался писать диссертации, и так как это грозило ему лишением кафедры, он, конечно, воевал против этого деликатного решения, которое принял, кстати сказать, не совет факультета, а совет университета. Белецкий не был и кандидатом наук, он был профессором без степени. Это были люди из Института красной профессуры. И таких было много. Было такое решение. Но оно состоялось накануне знаменитой сессии

ВАСХНИЛ 1948 г. А на эту сессию пришел Белецкий, выступил в защиту учения Лысенко, облаяв и обвинив всех нас мимоходом, правда, не называя по фамилиям, считая, что на таком ответственном заседании — чего уж мелочиться, — он выступал по принципиальным вопросам. После этого выступления все пошло совершенно иначе. Белецкий вернулся победно. Клеврет Лысенко Президент стал деканом биологического факультета. Лысенко, который и до этого бывал у нас на факультете (его приводил Белецкий), зачастил и поучал нас... в общем, наше положение было хуже некуда. Вызвали нас на коллегия министерства. Там приняли решение снять декана Кутасова. Сменившего его декана Гагарина через несколько лет тоже из-за происков Белецкого сняли и направили работать в ИПК МГУ. Относительно меня ограничились строгим внушением. Правда, я на коллегии говорил о том, что готов осмыслить все это, короче говоря, в какой-то мере покаяться. Речь шла не столько о теоретических взглядах, они совершенно не интересовали коллегия, а о неправильном отношении к Белецкому, выдающемуся человеку, который занимает правильную партийную линию, по сравнению с которой теоретические расхождения имели совершенно второстепенное значение. Так сказал министр, и я с ним согласился, что действительно на фоне основных идеологических рубежей вопросы абстрактно-философские не представляют большого общественного интереса. Короче говоря, меня пожалели.

— *Что же было дальше?*

— Дискуссия на некоторое время затихла, однако потом она снова возобновилась, поскольку Белецкий без этого жить не мог. Он вообще стремился руководить не только своей кафедрой, но руководить всеми кафедрами. При этом, очевидно, в нем был какой-то комплекс, потому что однажды он, увидев меня с версткой книжки, которую мы написали вместе со Светловым... По существу, это была моя первая книжка. В 1948 г. она вышла. Она называлась: «Возникновение марксизма: революция в философии». Он увидел верстку, взял ее в руки и говорит: «Что же вы решили книжку выпустить?». Я говорю, что пора уже, ведь мне уже 34 года. Если бы не война, не армия, я давно бы уже написал книжку. Он говорит: но имейте в виду, что книга осуждена уже самим актом своего опубликования. Это вам, дескать, дорого обойдется. Действительно, тогда книги выпускались очень редко. Скажем, в Институте философии (я там работал по совместительству), насколько мне помнится, в год выпускали не более одной-двух книг. А на факультете книги не издавали вообще. Но данная книжка вышла в издательстве Политиздат. Ну, я Белецкого не испугался, книжку выпустил. Никаких страшных вещей не произошло. Потом дискуссия начала опять развиваться, опять вокруг всех этих вопросов. Белецкого убедили прочесть несколько лекций по историческому материализму с тем, чтобы выпустить какую-нибудь книжку. И действительно, он начитал 3–4 лекции. Получилась рукопись страниц сто примерно. И надо сказать, что он, по-видимому, был не глупый все-таки человек. Он эту рукопись отдал мне на прочтение. Я прочел ее, подчеркнул все несуразности; там их было страшно много в изложении исторического материализма. А потом новый декан факультета

В.С. Молодцов решил поставить верстку книги на совет для обсуждения. И я там выступил со всеми этими своими замечаниями, поправками — вполне корректно. А потом я страшно пожалел, потому что он послушно вычеркнул все то, что я подчеркивал как нелепое. И, в общем, получились довольно бледные лекции, вы их можете посмотреть из любопытства. Там много еще осталось каких-то латентных глупостей, но самые несурзные вещи, конечно, были сняты. А я подумал: ведь как было бы хорошо, если бы она была опубликована в первоизданном виде, т.е. в том виде, в каком он сочинил и, соответственно, выразил кредо, так сказать, всей своей группы, куда входили, впрочем, и способные люди вроде Ковальзона, вроде Келле, который защищал диссертацию «Философия Гегеля как аристократическая реакция на французскую революцию», и многие другие, я бы не сказал, что способные, вроде Вербина, Кочеткова и т.д.

Теперь я перехожу к тому, что уже составляло конец истории с Белецким. Дело в том, что новый декан Молодцов нашел какой-то более тонкий подход к Белецкому, и однажды, когда у Белецкого происходила на кафедре какая-то дискуссия по докладу Кочеткова (был у него такой доцент), он туда подослал стенографистку, которая просто сидела, как слушательница. Она потихонечку себе писала: многие там делали какие-то записи. Короче говоря, она застенографировала эту дискуссию. В докладе доказывалась такая вещь, причем совершенно новая для Белецкого и малопонятная. Кочетков выдвигал, ссылаясь на Белецкого, положение, которое можно встретить у Т. Павлова в его книге «Теория отражения», что философия не является мировоззрением — каким бы то ни было, а представляет собой теорию мышления. Шла дискуссия, все это было записано, Молодцов взял эту стенограмму и отправил ее в ЦК. Конечно, стенограмма была не правленая, юридически она, в общем, была недействительна. Но так как там выступало много людей, и было совершенно ясно, что в ходе дискуссии обосновывался тезис, что вся философия сводится к теории мышления, это было так непохоже на прежние партийные, заостренные, воинствующие позиции Белецкого, что поразило и работников ЦК. Стенограмма попала секретарю ЦК П.Н. Поспелову. Это происходило уже после смерти Сталина, что было, конечно, большим счастьем для нас. Поспелов прочел и, конечно, ужаснулся. Я сужу по тому, что он приехал к нам в университет. Собрали партийный актив, и он разделал Белецкого за такой непартийный взгляд на философию, т.е. приписывая ему то, что Белецкий готов был приписывать нам. После этого Белецкий был моментально снят с работы и был направлен в какой-то инженерно-экономический институт, где он тихонько доживал свой век профессором, а его место заведующего кафедрой занял декан факультета Молодцов.

— *Как с этим было связано удаление с факультета Ильенкова?*

— Но в этой истории был один трагический момент. Дело в том, что у меня было два молодых ассистента. Один из них был очень талантливый — это Эвальд Ильенков, другой — просто способный, живой, интересный человек, Коровиков, который стал потом корреспондентом «Правды» по Африке. Он всегда увлекался географией. И по каким-то другим мотивам

они тоже придерживались точки зрения, что предмет философии это теория мышления. У Эвальда это шло от Гегеля. У Гегеля философия это действительно учение о мышлении, которое понимается как субстанция. А Эвальд, исходя из концепции тождества бытия и мышления, в общем, пришел тоже к этому. И они на своих семинарах проводили вот эту концепцию, т.е. что философия это не мировоззрение, а теория мышления. Я об этом знал, я с ними немножко спорил, но считал, что потихонечку разберемся. А когда обнаружилась вся эта история с Белецким, и когда выступил Пospelов, то уже стали ополчаться и на меня, и на них: на меня — что я терплю вот такую пропаганду идеалистических взглядов, на них — что они прямо проповедают эти взгляды. Мне сначала поставили на вид, потом решили ограничиться предупреждением. А что касается Ильенкова и Коровикова, то их так же, как и Кочеткова, Вербина (не одного Белецкого) и всех других: их объединили, хотя они были совершенно разные люди. Их всех уволили. Ну, Эвальда я устроил в Институт философии. Там просто Г.Ф. Александров был в это время директором Института философии, он уже ушел из ЦК. А Александров был мне еще хорошо знаком по ИФЛИ, где он преподавал, и где я у него был в семинаре. Я попросил Александрова взять Эвальда; он взял и не пожалел об этом. Коровиков устроился в газету и больше философией не занимался. А Эвальд в Институте нашел свое место и собственно стал по-настоящему работать, потому что здесь он подготовил свою кандидатскую диссертацию, которую он, правда, еще защищал у меня на кафедре, подготовил к печати ряд работ, сделался серьезным философом.

— *Расскажите о том, как Вы защитили докторскую диссертацию.*

— К этой истории я могу добавить еще один личный момент. В 1951 г. я подготовил докторскую диссертацию. И осенью она должна была быть поставлена на защиту. Был назначен день защиты, были назначены оппоненты. Первым оппонентом согласился быть академик Г.Ф. Александров, а поскольку тема «Развитие марксистской теории на опыте революций 1848 года» была исторической и поэтому надо было обязательно историка: это был профессор Молок из Института всеобщей истории, третий оппонент был из ИМЭЛа, поскольку у меня там использовались какие-то архивные материалы (некоторая часть переписки Маркса и Энгельса была закрыта, так что я мог только в ИМЭЛе ее читать). И за два дня до защиты мне звонит секретарь Александрова и просит прийти к нему. Я прихожу. Александров говорит: «Знаешь, я не могу быть твоим оппонентом, потому что у меня был Белецкий и сказал, что написал письмо Сталину о том, что сложилась меньшевистская группа во главе с Александровым». Александров сказал, что в ЦК отношение к нему довольно критическое, и что если он сейчас вступит в драку с Белецким, который написал Сталину... — «Ищи другого оппонента».

А защита у меня должна быть через два дня. Ну, я развел руками. Уговорить я его не могу. Я говорю: «Ну а как же Вы откажетесь-то?» «Да это пустое, я просто напишу записку, что я заболел, с тобой даже передам». Тут же написал А.П. Гагарину, что заболел, не может дочитать диссертацию.

цию, не может приехать, и уехал на дачу. Я пришел к Гагарину и говорю: «Ну что же тут делать?». А он был мужик смелый и говорит: «Да плевать тебе на это, давай мы тебе третьим оппонентом Дынника назначим». Позвонили Дыннику. Дынник согласился за день прочесть, хотя диссертация была страниц 800, тогда разрешалось такие большие писать. А потом Гагарин мне говорит: «А все-таки, знаешь, такая отговорка Александра делает историю немного более подозрительной. Надо бы, чтобы он все-таки высказался, ну что он не дочитал, но прочел какую-то значительную часть». А я говорю: «Что делать?» — «А где он?» — «Наверное, он уехал на дачу». — «Ну, позвони ему, проверь, если его нет дома, поезжай на дачу». Это был добрый совет. Такси тогда стоило не дорого. Я взял такси и поехал к нему на дачу.

Приехал. Он гуляет по своему садику с двумя борзыми собаками. Я ему говорю: «Георгий Федорович, не получается ничего, потому что возникает мысль, что Вы имеете какое-то возражения по существу». Ну, короче говоря, через добрый час наших разговоров я его уговорил написать краткий отзыв на полстраницы, который заключался просто в том, что он всю диссертацию вследствие болезни не успел прочесть, но то, что он прочел, производит на него положительное впечатление серьезного, основательного, марксистского исследования. Он написал, что считает возможным присвоение, хотя тут же оговаривал, что, к сожалению, не смог дочитать до конца; поскольку работа была очень большая, то это выглядело вполне реалистично (хотя, думаю, он даже не начинал читать).

Ну и когда началась защита, а надо сказать, что лекции я всегда читал с увлечением, студентов ко мне очень много приходило, поэтому на защиту пришел, наверное, человек 600–700 народу, во всяком случае, проректор университета А.Л. Сидоров, желая пройти на защиту, не смог дойти до стола, т.е. он так и стоял, как он мне потом рассказывал, потому что его просто не пропустили, настолько была забита аудитория. Но ожидали, конечно, скандала, что Белецкий выступит. Но как раз перед началом защиты Гагарин, для того, чтобы объяснить, что у меня будет другой оппонент, зачитал письмо Александра с выражением, что, мол, хотя он не дочитал, но — это марксистское исследование, заслуживающее присвоения степени и т.д. Я взглянул на Белецкого, который там сидел впереди — он в лице переменялся, потом через минуту встал и ушел и не участвовал в защите. Поэтому я прошел единогласно. Конечно, если бы он остался, едва ли бы он голосовал «за». По прошествии восьми месяцев мне присудили докторскую степень.

В 1957 г. я активно участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Был председателем философского симпозиума, на котором встретились довольно интересные люди, в частности, там был ассистент Эйнштейна Розенфельд — такой пожилой профессор, и еще кто-то. Тема была: «Возможность научного предвидения». Она объединяла и философов и не философов. В конце фестиваля был организован прием. Его организовал министр высшего образования В.Н. Столетов. Получилось так, что приглашения послали неаккуратно написанные. И в результате иностранцы просто не пришли. И вот, мы сидим, хозяйева,

стол накрыт весьма богато по тем временам, вина стоят, а гостей нет. Оказалось, что билеты не были отпечатаны, а фамилии были вставлены от руки, ну, в общем, что-то не соблюли. Ждем час. Потом Столетов говорит, что, ну давайте мы сами... Стали пить, болтать. Потом Столетов заметил, что «вот теперь я могу Вам рассказать историю». «Вы знаете, что Белецкий написал письмо Сталину о Вас? Что сложилась меньшевистская группа, о Вашей защите. И Сталин поручил это дело разобрать Суслову, а Сулов вызвал меня и сказал, чтобы я создал комиссию и рассмотрел Вашу диссертацию. Но сказал, что Белецкий, знаете, сволочной мужик, который на всех пишет. И я так понял, что с этим не надо торопиться. И мы, говорит, «года два занимались Вашим делом, убедились, что там никакого меньшевизма нет, и не мешали работать экспертной комиссии, которая тем временем присудила Вам докторскую степень. И если бы», — говорит, — «мы довели до сведения экспертной комиссии указание Сталина, указание Суслова, то конечно бы зарезали Вашу докторскую диссертацию независимо от содержания», в котором действительно никакого меньшевизма не было.

Тем более, что когда я писал диссертацию, у меня перед глазами стояла бернштейновская оценка этого периода в творчестве Маркса. Бернштейн считал, что все заблуждения Маркса идут именно от периода революций 1848 г. Диссертация у меня была построена как раз вот на этом, в чем сейчас я, конечно, вижу ее недостаток, потому что ряд идей, которые Маркс выдвинул на основе опыта революций 1848 г., были связаны с его убеждением, что эпоха пролетарской революции уже наступила. Отсюда идея перманентной революции, которую подхватил потом Ленин. Но, как говорится, трудно быть выше своего времени. И чего-чего, а меньшевизма в моей диссертации не было.

Да, вот такая в те годы была тяжелая, склочная обстановка на факультете.

— *Академик Г.Ф. Александров сыграл в Вашей судьбе, как видно, значительную роль. Расскажите о нем, пожалуйста.*

— Я познакомился с ним в мои студенческие годы, когда этому человеку было, пожалуй, 25–27 лет. Он был молодым профессором.

— *В 25 лет профессором?*

— Да, он очень рано стал профессором. Я не помню точно, был ли он в 25 лет и.о. профессора или уже профессором. Он 1908 года рождения, следовательно, скажем в 1938 г. ему было 30 лет. А он у нас вел семинар со второго курса и уже был профессором в это время. Надо сказать, что лектором он был совершенно блестящим. Мы заслушивались им, потому что у него было какое-то воодушевление. Особенно хорошо получались у него лекции по «Философским тетрадам» Ленина. Он обычно держал книгу и начинал толковать каждое замечание. При этом он брал приводимый Лениным тезис Гегеля. Толковал сначала Гегеля, потом толковал ленинское замечание. Все это очень побуждало к тому, чтобы самому думать, самому осмысливать. И вообще Александров нам тогда представлялся, конечно, звездой первой величины. Я и сейчас убежден, что если бы он стал заниматься философией, а не

ушел бы на партийную работу, то, вероятно, он действительно оставил бы заметный след.

Но он уже тогда, даже когда у нас читал лекции, был заведующим отделом печати Коминтерна, потом перешел в ЦК, затем окончательно покинул факультет, вернее, не совсем: он появлялся там раз-два в месяц на два часа, но числился заведующим кафедрой истории философии. Конечно, он уже не занимался никакой исследовательской работой. Поэтому и его книга по философии Аристотеля является слабой работой. Его учебник — это лекции, которые он читал в ВПШ. Он назывался «История западноевропейской философии». Потом за нее он получил Сталинскую премию. Причем, когда Сталин об этом узнал, Александров сам рассказывал: Сталин был очень раздражен. Потому что, вероятно, отношения Александрова со Сталиным были весьма близкими. И то, что он не попросил у Сталина этой премии, а провел, так сказать, независимо от Сталина, так же, как он независимо от Сталина провел себя в академики, а своих заместителей — Федосеева, Кружкова и Иовчука — в члены-корреспонденты, все это вызвало недовольство Сталина. И, в конечном итоге, привело к этой дискуссии, достаточно надуманной, по книге Александрова «История западноевропейской философии», потом к его снятию с партийной работы и его переводу в Институт философии.

Ну а дальше, как Вы знаете, когда Сталин умер, и Маленков стал возглавлять правительство, то он выдвинул Александрова в министры культуры. Александров опять как бы пошел в гору. Но Маленкова сменил Хрущев, который, как мне говорил Александров, ненавидел его, потому что Александров был когда-то руководителем комиссии, проверявшей работу ЦК Компартии Украины, где Хрущев был первым секретарем. И Александрова сняли с поста министра культуры, придравшись к его сексуальным похождениям. Эти похождения, конечно, были фактом, они были более или менее известны всем. Конечно, мы не знали никогда масштабов, но мы знали, в общем, что он не пропускает ни одну женщину, кокетничает со всеми, это бросалось в глаза в нем всегда. В принципе, в отношении работников такого масштаба на такие вещи всегда смотрели сквозь пальцы. Но поскольку у Хрущева к Александрову было особое отношение, то он придал этому значение события большого масштаба, и Александрова отправили в ссылку в Минск, где он стал заведовать сектором в Институте философии АН БССР.

Но не только партийная работа помешала Александрову стать философом в полном смысле слова. Дело в том, что это был очень пьющий человек, насколько я его помню. Когда я стал работать в университете, мы как-то подружились, и я у него бывал дома, и он у меня бывал, на даче я у него, естественно, бывал. Я, конечно, видел, что у него дня не проходит, чтобы не пил. Ясно, что такая любовь к напиткам, хотя они и называются «духовными» — спиритуозы, мешает заниматься наукой. В этом смысле судьба Александрова трагическая. Человек, несомненно, талантливый, но погубивший свой талант.

— Вы уже говорили об Ильенкове. Расскажите, пожалуйста, как складывались ваши отношения с ним.

— Что касается Эвальда Васильевича: впервые я его заметил еще до войны. Дело в том, что я, еще, будучи аспирантом, начал преподавать на факультете. И я вел семинар в течение месяца или двух в группе, где учился Эвальд Васильевич. Он мне потом само об этом напомнил. Я запомнил, что в этой группе был Келле, почему запомнил, не знаю. А Ильенков молчал, видимо, на семинаре. Но в лицо я его помнил. После войны встретились все-таки как знакомые. Студентом он писал у меня дипломную работу. Причем дипломную работу он писал на какую-то тему, довольно далекую от философии. Тема называлась «Социально-политические воззрения австрийских социал-демократов». Критика ревизионизма, австромарксизма. Я бы сказал, что ничего значительного в этой работе не было. То есть она была написана грамотно, она свидетельствовала о том, что он знает более или менее язык, потому что он пользовался немецкими источниками, но никакой свежей мысли или какой-нибудь острой критики, скажем, я не увидел.

Так или иначе, добросовестно выполненная работа, участник войны — его оставили в аспирантуре. В аспирантуре он начал себя выражать уже более определенно, причем очень интересно в каком смысле. Обычно аспиранту дается список литературы, которую он должен изучить. Это и у нас было. В этом списке литературы были Локк, Гоббс и др. Ильенков изучал только Гегеля. И поэтому, когда он пришел сдавать кандидатский минимум, то обнаружилось, что, в сущности, никого, кроме Гегеля, он не знает, или знает очень слабо. То есть он довольно слабо знал Канта, Фихте и совсем не знал английский материализм. Конечно, какие-то общие сведения были. А экзамен у него принимал в моем присутствии О.В. Трахтенберг. Мне было неудобно: мой аспирант, почему же мне принимать? Я попросил Трахтенберга и еще кого-то, не помню. Он вообще был человек очень мягкий, добрый. И Трахтенберг был так ошарашен тем, что Ильенков не знает некоторых элементарных вещей, скажем, учения Локка о рефлексии, о простых и сложных идеях. Поскольку я уже знал особенность занятий Ильенкова, я сказал: «Давайте, может быть, сосредоточим внимание на том, чем он занимался. Потому что дело не в том, что он ленился, а в том, что у него определился круг научных интересов, и поэтому он занимался чем-то определенным». Трахтенберг нехотя согласился, и спрашивает: «Ну, расскажите, что Вы изучали по истории философии?». И тут Ильенков стал ему излагать «Науку Логики» Гегеля, «Феноменологию», причем излагать не просто правильно и хорошо, но и довольно самостоятельно, вдумчиво. В особенности это относилось к «Науке Логики»: такие разделы, как «Сущность», как «Учение о понятии». При этом он проводил параллель: Гегель — Маркс, пользуясь для этого материалами уже моих лекций; в моих лекциях было сопоставление «Науки Логики» и «Капитала». Трахтенберг, конечно, был удивлен. Тем не менее, он настаивал, чтобы поставить «удовлетворительно», не больше, поскольку, что же, он Гегеля знает, а остального-то он не знает. Если бы Ильенков не был моим аспирантом, я бы переубедил бы Трахтенберга. От аспиранта не надо требовать того, чего требуют просто от студента. Он не какие-то курсы сдает. У него индивидуальный план. Он

его выполняет. Но так как это был мой аспирант, я ему говорю: «Ну, воля Ваша».

Так поставили Ильенкову «тройку» по истории философии. Надо сказать, что он не обиделся, и не собирался пересдавать. Ему уже это было безразлично. Он знал, что ему нужно. Вот здесь уже определились черты индивидуальности его. И здесь мне стало с ним очень интересно работать, потому что мы могли уже часами обсуждать эту тематику: гегелевское и Марксово учение об абстрактном и конкретном. Помню, что у нас были как расхождения, так и довольно интересные, вместе с тем, пункты соприкосновения. Так что, когда он написал диссертацию, то, в общем, я ее читал, в какой-то мере уже как знакомую вещь, т.е. мы успели обговорить многое. А вот автореферат я его заставлял переписывать дважды, потому что он был написан на таком птичьем языке, что я просто боялся, как бы его не завалили из-за этого. Я его все просил: пусть автореферат будет достаточно популярным. У нас тогда еще и психологи входили в совет, тогда еще не было психологического факультета. Так, чтобы все могли читать, которые не знают ни Гегеля, ни Маркса, не занимаются этим. Он, в общем, учел эти соображения. Диссертация прошла. Мне удалось его оставить на факультете.

В дальнейшем наши отношения складывались довольно сложно. Хотя Ильенков и понимал, что моей вины нет в том, что его уволили в 1955 г. из университета, и знал, что это я его устроил в Институт философии, все-таки какое-то чувство обиды у него оставалось. Он представлял себе дело так, что всегда можно было повернуть дело назад, если не сразу, то потом. Может быть, и можно было повернуть, но дело в том, что после того, как Белецкого уволили с факультета, здесь тоже организовалась группа, которая оказывала мощное влияние: такие люди, как И.Я. Щипанов, как В.И. Черкесов, и они терпеть не могли Ильенкова. Для них он был чистейший гегельянец, в общем, идеалист и т.д. Поэтому даже разговора не могло быть о том, чтобы его вернуть на факультет.

В Институте философии Ильенкова стали травить, когда появился директор Института Б.С. Украинцев. Его работы отказывались рекомендовать к печати. Мне было очень трудно ему помочь, потому что я сам вступил в острейший конфликт с Украинцевым. Я выступил против Украинцева на одном совещании в ЦК и потребовал, чтобы Украинцева как некомпетентного человека убрали из Института. Это было в присутствии заведующего отделом науки ЦК С.П. Трапезникова, вице-президента АН СССР П.Н. Федосеева. Естественно, Украинцев, не имея возможности выместить на мне свою злобу, старался ее выместить на том, на ком мог: на Лекторском, на Ильенкове, на Никитине, в общем, на этом секторе диалектического материализма, с которым я был связан работами по теории познания. И все это привело к самоубийству Ильенкова.

Он у меня был в этой квартире моей дней за пять до самоубийства. Он позвонил, пришел вечером. Мы сели ужинать, я поставил бутылку водки. Мы стали ее пить. Он говорит, что пришел ко мне, чтобы сказать об одной опасности, которая нам всем угрожает. Опасность эта заключается в том, что Украинцев близкий друг Брежнева, что Брежнев был секре-

тарем Запорожского обкома партии, а Украинцев был секретарем Запорожского обкома комсомола. С тех пор они дружат, и недаром Украинцев девять лет работал в ЦК. Он действительно девять лет работал в ЦК, зав. сектором. И что вследствие этой дружбы Украинцев всех нас выживет. Сколько я не убеждал в том, что если бы такая дружба была, и если бы она была так влиятельна, то Украинцев давно бы уже расправился и с ним, и со мной, и со всеми, с кем можно. Да и, наверное, не держали бы его на этом месте, которое совсем ему самому не нужно было, потому что никакой он не философ, он кончил физический факультет пединститута где-то на Кавказе.

Убедить Ильенкова нельзя было, это была какая-то идея фикс, что, в общем, мы пропали. Мне, конечно, в голову не приходило, что этот мрачный пессимизм, который нельзя было рассеять и с помощью водки, приведет его к такому печальному концу. Я просто думал, что это такое вот тяжелое настроение, которое через день-другой развеется. Но дней через пять после этого мне сказали, что он перерезал себе вены.

— *Вы упомянули Черкесова. Когда я брал интервью у Е.К. Войшвилло, он много рассказывал о борьбе на кафедре логики между диалектическими логиками во главе с Черкесовым и собственно логиками.*

— Черкесов был выдвиженцем Шипанова и поддерживал его абсолютно во всем. Черкесов ничего не понимал ни в диалектической логике, ни в формальной логике. И вообще это не была его область интересов. Его кандидатская диссертация, по которой я у него был оппонентом, была посвящена критике правого оппортунизма. Это была довольно слабая работа. Но как кандидатская диссертация, в общем, более или менее, шла. И после этого, его, кандидата наук, сделали заведующим кафедрой логики. Человек он был очень раздражительный, очень нетерпимый. Прежде всего, став заведующим кафедрой, он изгнал с этой кафедры Асмуса. Асмус был в это время профессором кафедры логики. Он изгнал его оттуда. Я этому очень обрадовался и попросил, чтобы Асмус перешел к нам, на кафедру истории зарубежной философии. Асмус перешел к нам и оставался у нас до конца своих дней.

Я скажу для характеристики Черкесова такую деталь. Черкесов — он был членом парткома факультета — стал говорить об Асмусе: «А вы знаете, что его ни разу не утверждали правофланговым на демонстрации?». Я сказал: «Я не знал, но мне кажется, правофланговым надо утверждать молодого, крепкого парня, который действительно может быть правофланговым, а не пожилого, близорукого профессора».

Было уже другое время, это был конец 1960-х гг. Асмуса удалось привести в заслуженные деятели науки. Этому способствовало еще одно обстоятельство. На факультете было партбюро, которое потом превратили в партийный комитет. Меня как раз в это время избрали членом-корреспондентом Академии наук. Вдруг решили, что в первый раз, когда партком на факультете создается, надо секретарем какого-нибудь профессора сделать. И насели на меня. Я был секретарем парткома один срок, на второй я уже отказался. И там был такой случай. Мне звонят:

— «У вас есть такой профессор Асмус?».

— «Да, — говорю, — есть».

— «Ну, а Вы, как секретарь парткома, как смотрите на утверждение его заслуженным деятелем науки?»

— «Наше решение было единогласным. У нас были какие-то замечания, но при голосовании не было ни воздержавшихся, ни против».

Асмуса сделали заслуженным деятелем науки.

— *Может быть, Вы про Асмуса расскажете, раз мы плавно перешли к нему?*

— Человек он был очень порядочный, очень интеллигентный. И, вместе с тем, конечно, другого поколения. И он не понимал нас. Ну, скажем, когда началась кампания против Пастернака, я поддержал Асмуса как друга Пастернака. Но когда Пастернак умер, и Асмус выступил на могиле и сказал, что Пастернак был в споре со своим временем, то пришла такая директива: обсудите на кафедре. Не надо никаких суровых выводов, но поговорите просто. Прошло заседание кафедры, где мы, так сказать, «заикались», потому что мы все понимали, что, независимо от того, согласны мы или не согласны, но мы должны были выполнять эту директиву.. И мы говорили: «Ну, не надо было Вам так выражаться. И Вы должны были согласиться с тем, что он спорил с нашим социалистическим обществом, с нашей партией». Асмус сидел подавленный. Мы были не менее подавлены, чем он, потому что для нас это было не менее трудно, чем для него. Он разводил руками: «Может быть, я бы ничего подобного не говорил, если б это не было выступление на могиле». Вот такие трудности были, потому что и время такое было. Асмус был человек беспартийный, этого он не понимал, и не хотел понимать, и не хотел с этим считаться. По большому счету он все-таки оказался прав. А наши упреки были какими-то казенными, какими-то неискренними. Все мы понимали, что если Пастернак спорил с веком, то это было вовсе не потому, что он был не наш человек. Он вовсе не захотел ни уехать из страны, как Хрущев говорил ему: давай, уезжай. Он был русский поэт.

При всем при том Асмус был человеком, который, все-таки, проникся бытом общества, которое мыслилось как социалистическое, воспринималось, верилось, что оно будет таким. В этом смысле он вовсе не был человек каких-то буржуазных взглядов. Скажем, в его книжке «Маркс и буржуазный историзм» есть даже раздел «Диктатура пролетариата», что совершенно необязательно было в такой работе. Ему очень хотелось высказаться и на эту тему, причем высказаться позитивно, со знанием дела. Поэтому я никогда не воспринимал Асмуса как буржуазного интеллигента, как спеца, который пришел, так сказать, служить советской власти. Он был совершенно искренний человек. Вы можете взять книгу Асмуса 1924 г. «Диалектика Канта». Она вышла, когда Асмусу было 29 лет. Она написана так, как будто вышла в прошлом году. Ну, можно, конечно, Асмуса упрекнуть в том, что он несколько чрезмерно критикует Канта. Но, вместе с тем, он все-таки показывает величие этого философа.

— *Вы работали в Институте философии при нескольких директорах. Наверное, Вам запомнился П.В. Копнин?*

– Работы Копнина были не без свойственного всем нам налета догматизма тех лет. Но вместе с тем Копнин был человек смелый. Это отличало его. Он мог, например, начать рассуждать о том, что общего между философией и религией. Обе они – формы мировоззрения. Философия есть мировоззрение, которое выражается в понятийной форме, религия выражает себя иначе, в таких формах, как догматы или же положения веры. И в других вопросах Копнин выступал как человек самостоятельно мыслящий. Мне очень понравилось в одной из его статей очень убедительное обоснование мысли о том, что иррациональное существует не только в сфере сознания или в сфере мышления, а что иррациональное существует в самой действительности. Эта мысль мне настолько запала в голову, что уже впоследствии, в 1978 г., через семь лет после смерти Копнина, я на XVI Всемирном философском конгрессе выступал с докладом «Рациональное и иррациональное», где я как раз развивал ту же идею, что и у Копнина. Я пытался показать, что это, собственно, идея Маркса, что Маркс в «Капитале» показывает иррациональную видимость общественных отношений, как она проявляется в различных экономических категориях. Как, скажем, цена земли, которая не имеет стоимости в экономическом смысле, поскольку она не произведена. Так что Копнин все-таки, несмотря на недостаток систематического образования, на отсутствие знания иностранных языков, на некоторое такое стремление быть начальником, что всегда мешает заниматься философией (он ведь всю жизнь был начальником), он талантливый человек был. Мне представляется, что какой-то вклад он сделал интересный. Его книжка «Введение в теорию познания», пожалуй, и сейчас может читаться с интересом, хотя со многим можно не согласиться.

– *Как Вы оцениваете Б.Э. Быховского как историка философии и преподавателя?*

– Поскольку он ведь был чуть ли не бывший троцкист, неизвестно каким образом уцелевший (по этому поводу ходили всякие анекдоты), его в университет, в общем, не допускали. Были периоды, когда он появлялся на короткое время с каким-то спецкурсом. Читал он совершенно блестяще. Мне нравились его лекции по французскому материализму. Он был остроумным человеком, и вот это вот *esprit* французского материализма ему удавалось очень ярко изложить. Пожалуй, о французском материализме, как известно, у нас читал только Стэн. Тот самый Стэн, который потом был расстрелян. Он у нас некоторое время, очень недолгое, был доцентом.

– *Что Вы можете сказать о М.А. Дыннике?*

– Дынник был, конечно, очень яркий человек в том смысле, что он не только читал лекции, но он, скажем, переводил стихотворные философские поэмы. Что характерно для того времени – разговорным иностранным языком ни он, ни Асмус не владели. Хотя знали несколько языков. Асмус знал английский, немецкий, французский. Но разговорной практики у них не было – за границей они не бывали.

Как-то Минвуз нам предложило организовать встречу у меня на кафедре, да и вообще на факультете с тремя французскими философами. Один

был Жан Ипполит, другой Поль Рикёр, а третий — Эрик Вейль. Я очень этому обрадовался. Они читали лекции для всего факультета, читали с доклады для более узкого круга. Естественно, мы разговаривали с ними по-французски, у меня уже был какой-то опыт, я ездил за рубеж. И всегда было страшно смотреть на Асмуса, когда он с трудом формулировал какой-нибудь вопрос на французском языке. Он весь становился красным, потому что это стоило ему большого напряжения. А у Дынника это по-другому получалось. Так как разговорный французский был для него тоже непривычен, то очень смешно было: он одно слово по-французски, другое по-английски, третье по-немецки... Но, слава Богу, его понимали. А вот когда он начинал переводить — все было хорошо. Также как и Асмус, когда он переводит тексты в своих книгах — отличные переводы. Так что это просто трагедия этого поколения, которому не приходилось, ну, хотя бы месяц пожить за границей с тем, чтобы поднатаскаться в обычном языке. Мое поколение еще тоже не так много было за границей. Но я-то был достаточно много.

М.А. Дынник перевел Джордано Бруно, отлично перевел еще какие-то вещи. Но вместе с тем, конечно, он был какой-то легкомысленный человек. Он никогда не готовился к лекциям. Он всегда приходил и спрашивал: «На чем я закончил?». Ему подсказывали: «Вот на этом». И он начинал с этого места. Конечно, все это он уже неоднократно читал, никаких конспектов у него не было. Он свободно, легко говорил... Но обычно это было недостаточно основательно. Выпущенный им учебник истории античной философии показывает, насколько это было неглубоко. А, кроме того, у него в отличие от Асмуса, было сильное стремление проводить идею партийности. Он настаивал на том, что Демокрит это идеолог рабовладельческой демократии, Гераклит это идеолог рабовладельческой аристократии и т.д. Подобные аналогии, вообще говоря, вполне приемлемы. Но материал настолько скудный, что говорить об идеологии какого-то класса на основании двух-трех фрагментов, конечно, не приходится. Но этого требовала схема, которая тогда существовала.

— *И он искренне говорил?*

— Конечно, искренне. Я даже думаю, что не только он. И Лосев тоже как-то пришел к нам в Институт философии и произнес какую-то большую речугу на ученом совете, и, о чем бы вы думали — о партийности в философии.

— *Это поразительно, при том, как Лосев подается сегодня.*

— С Лосевым было сложнее как-то. Я думаю, что он был одинаково искренен и тогда, когда он был идеалистом, и тогда, когда он был марксистом. Я в этом уверен, потому что мне присылали как-то на отзыв некоторые его статьи, написанные для «Философской энциклопедии», как это обычно бывает в рабочем порядке. Статьи были написаны со вкусом, так не может писать человек, у которого нет таких убеждений. Он излагает свои собственные убеждения, причем довольно оригинальные. Они не всегда совпадали с общепринятыми. Видна была индивидуальность человека. Но это были марксистские вполне статьи.

S.N. KORSAKOV

Summary

In an interview with S.N. Korsakov (1992) academician Theodor Ilyich Oizerman talks about the dramatic events of the history of Soviet philosophy. We are talking about philosophical faculty of Moscow University in 1950-ies. The philosophical struggle here has become acute. Its initiator was professor Z.Ya. Beletsky, who believed that classical German philosophy is a theoretical source of Nazism, and that the objective world is the objective truth. Beletskiy used a political defense of his views – he wrote letters to Stalin. As a result, the philosophical faculty of Moscow University was a field of sharp struggle views. T.I. Oizerman talks about his teacher, the academician G.F. Aleksandrov. He explains the reasons why G.F. Aleksandrov could not realize himself as a philosopher. T.I. Oizerman puts forward his version of events connected with the expulsion of E.V. Ilyenkov from the faculty of philosophy in 1955. There are very interesting memories of T.I. Oizerman on the time of E.V. Ilyenkov in the graduate school. T.I. Oizerman talks about the character and work of his colleagues in the Department of the history of philosophy of philosophical faculty of Moscow University. We are talking about V.F. Asmus, M.A. Dynnik, B.E. Bykhovsky.

Keywords: Soviet philosophy, T.I. Oizerman, faculty of philosophy, Moscow State University, E.V. Ilyenkov, V.F. Asmus.

Korsakov, Sergei – D.Sc. in Philosophy, Leading Research Fellow at the Department of Humanity Expertises and Bioethics of the Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.

snkorsakov@yandex.ru

Citation: KORSAKOV S.N. (2017) Academician Oizerman on Time and Himself (*Interview, 1992*). In: *Philosophical Sciences*. 2017. Vol. 5, pp. 133-149.